

Лидия Чарская

Царский гнев



Лидия Алексеевна Чарская

Царский гнев

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=635615

Лидия Чарская. Собрание сочинений:

Аннотация

Мрачным и тяжелым было царствование Ивана Грозного.

Но тем ярче, тем выпуклее на фоне этого печального периода нашей истории выступают подвиги тех, кто стали невинными жертвами сурового царя...

Среди них были и юноши, были и дети. Но их имена не попали на страницы истории: слишком незаметна была их роль в той картине грандиозных событий, которую представляла собою та эпоха.

Историю подвига одного из таких юных незаметных, скромных героев – если в данном случае применимо вообще слово «герой» – представляет настоящая повесть.

Задача автора состояла, однако, не только в том, чтобы рассказать об интересном, полном благородства, но забытом поступке, но вместе с тем в общих чертах ознакомить юного читателя с бытом и главнейшими деятелями той эпохи.

Содержание

I	4
II	12
III	20
IV	23
V	26
VI	28
VII	33
VIII	35
IX	38
X	43
XI	49
XII	52
XIII	55
XIV	58
XV	61

Лидия Алексеевна Чарская

Царский гнев

I

Грозен и сумрачен встал в это утро великий царь Иван Васильевич. Всю-то ноченьку не удалось сомкнуть глаз государю. Напрасно вплоть до самого белого утра любимые царем слепые сказочники рассказывали нараспев царю про походы великих князей киевских и новгородских, про татарское Батыево нашествие, про взятие Византии храбрым князем Олегом и про крещение Руси князем Владимиром Красным Солнышком.

Не могли эти рассказы усыпить царя...

Не спалось ему.

Разгневанный на бегущие от его глаз сонные грезы, прогнал сказочников царь и остался один. А как остался один — так и пошли, так и одолели царя знакомые тревожные мысли, печальные горькие думы, сомнения и тоска, которые не покидали все последнее время грозного царя Московского...

Едва дождался утра Иван Васильевич, кликнул любимца своего, молодого постельничьего Федора Алексеевича Басманова, в обязанности которого входило днем безотлучно находиться при особе государя, а в ночное время спать у две-

рей царской опочивальни, тут же рядом в соседней горнице.

Вошел Басманов, стройный белокурый мужчине с голубыми глазами, со взором хитрым, пронырливым и недобрый в одно и то же время. На нем был голубой бархатный, шитый золотом кафтан, отороченный соболями, с золотой опояской вокруг талии, красные сафьяновые сапоги с золотыми подковками. Белая рубаха, вся расшитая шелками шемаханскими (персидскими), была унизана по вороту крупными жемчужинами. Такие же жемчужины выполняли роль пуговиц на бархатном кафтане молодого постельничьего.

Едва переступив порог царской опочивальни, Басманов повалился в ноги царю. Потом, не вставая с колен, подполз к высокой постели государя и, с благоговением коснувшись губами дорогого, расшитого парчой одеяла, спросил медовым голосом, бегая по горнице лукавым и пронырливым взором:

– Как почивать изволил, государь-батюшка?.. Каковы сны грезилась, милостивец? Сладко ли отдохнулось сию ночьку, великий государь?

– Не спал я, Федя! – уныло произнес Иван Васильевич. – Всю-то ночь напролет глаз не сомкнул! Сердце просто изныло, изболело... Все изменники наши, бояре, мне чудились... Въявь и во сне чудилась новая измена – крамола моим очам! Не верю я им, не верю... Враги они мне, только скрывают это... Много у меня больно врагов, Федя... Как ехидны, как змеи лютые, ползают они и шипят окрест меня!.. Сам знаю, кто мне ворог злейший, кто моему спокойствию гро-

зит, кто меня, государя прирожденного, помазанника Божия, обижать дерзает... Вижу я многое, Федя, да не уличить мне, не накрыть злодеев моих: уж больно они ловки, свою измену-крамолу схоронить умеют.

И, сказав это, унылый и пришибленный за минуту до того царь точно преобразился. Его худое, изможденное от бессонных ночей лицо теперь было багрово-красно от гнева, злобы и возбуждения, губы и жиденькая бородка клинышком тряслись. Глаза горели мрачным, злобным огнем и метали искры.

Он был грозен и страшен в этот миг.

Федор Басманов знал, что в такие минуты государева гнева лучше не показываться на глаза царю. Но знал он и то, что если в эту минуту открыть Ивану Васильевичу имя или замысел нового врага, последнему не будет пощады. Государь находился в своем, столь часто появлявшемся у него состоянии жестокого озлобления, которое было так на руку его приближенным. Эти приближенные умели пользоваться подобным настроением царя и именно в такие минуты доносили ему на своих собственных врагов и недругов. Бывало, что они доносили просто из зависти на совершенно невинных людей, но большею частью на богатых и знатных бояр, заранее зная, что таких бояр постигнет неминуемая гибель, казнь, а все богатство казненных перейдет в руки доносчиков.

Ведь сколько уже случаев было подобных, но никто-никто не решался сказать грозному царю всю правду, никто не ре-

шался раскрыть ему глаза на то что творят царские любимцы...

Царский постельничий хорошо это знал и думал теперь о том, как бы воспользоваться минутой царского гнева, чтобы погубить одного из ненавистных ему бояр – молодого князя Дмитрия Ивановича Овчину-Оболенского.

Как-то на одном пиру у государя князь Дмитрий Иванович хотел сесть за стол на свое обычное место, неподалеку от царя. Каково же было удивление, когда он заметил, что на его месте уселся любимец царский Федор Басманов!

– Уступи мне мое место, Федя, – ласково попросил он молодого постельничего.

Но тот, дерзко взглянув на него, отвечал грубо:

– Не больно-то важная ты птица, князь, сядешь и пониже! Не вставать же мне из-за тебя!

Молодой князь вспыхнул, потом побледнел как смерть. Слова Басманова показались ему нестерпимым оскорблением. Ему, знатного рода князю, какой-то Басманов осмелился сказать такие дерзкие слова! В те далекие времена знатность рода почиталась куда больше богатства. На пирах и на простых трапезах люди садились за стол, строго следуя степени знатности своего родства. Чем важнее бывал гость, тем лучшее место получал он за столом. Нередко из-за этого происходили ссоры и распри у бояр и князей. Такой обычай сидеть по степени родовитости на пиру назывался местничеством и строго соблюдался в старое время.

Немудрено поэтому, что важный и знатный молодой князь был оскорблен грубым ответом простого царского слуги, не обладавшего ни титулом, ни званием.

– Тебя еще и на свете не было, молокосос, когда мой отец верой и правдой служил покойной матушке государя нашего, великой княгине Елене, – проговорил Овчина-Оболенский, впиваясь загоревшимися гневом очами в пригожее лицо обидчика.

– Что там ни говори, а мне ниже тебя сидеть не пристало! Потому с отцом твоим только и род-то твой возвысился, а допреж того вы худородные, мелкие князьки были! – зло рассмеялся Басманов, все еще продолжая нагло и вызывающе поглядывать на князя.

Тот света невзвидел от нового умышленного оскорбления. Он схватил тяжелый кубок со стола и готов был швырнуть им в обидчика, но друзья успели вовремя удержать за руку князя.

– Холоп, – проговорил он, сверкнув бешено глазами в лицо Басманова, – не хочу рук марать о тебя, а уж следовало бы прочить тебя, как негодного пса, за твои обиды...

Теперь настала очередь побледнеть Басманову.

– Ага! Ты так-то!.. Ну, ладно же, сочтемся мы с тобою, князька! Будешь помнить, как называть холопом меня, любимца царева! – прошипел он повернувшись к нему спиной Овчине-Оболенскому.

И тут же мысленно поклялся жестоко отомстить врагу.

Вся эта ссора на пиру сейчас снова с малейшими подробностями встала в памяти Басманова. «Что, если час мести настал сегодня?» – неожиданно пришла ему в голову подлая мысль. Государь грозен и немилостив, самая удачная минута оклеветать перед ним князя Дмитрия. В такую минуту и без того дурно настроенный, невыспавшийся и недовольный царь охотнее, чем когда-либо, выслушает всякую клевету, всякий донос на кого бы то ни было. Надо только суметь донести, суметь оклеветать поладнее, и тогда, тогда... и сам князь Дмитрий Овчина-Оболенский, и все его богатство в руках его, Федора Басманова, и он волен распоряжаться ими!

При этой мысли и без того недобрые глаза Федора Алексеевича засверкали еще ярче, еще злее, а все лицо перекосилось злобной торжествующей улыбкой.

– Царь-государь, отец наш милостивый, – начал он смиренным голосом, – до тех пор измена и крамола на Руси будут, пока ты, государь пресветлый, милостивый, жалеть да щадить послушников и изменников своих будешь... Вот выводешь измену кругом, далече, а того не видишь, государь-батюшка, что самые лихие враги поблизости тебя, тут же, почитай что рядом, благоденствуют...

– Какие еще враги? Кто благоденствует? – начиная ощущать новый прилив обычного раздражения, произнес гневно царь. – Говори толком. Не пойму я тебя! – и при этих словах приподнялся на постели, злобно ударил рукою по подушке и

так взглянул на Басманова, что другой на его месте задрожал бы от страха.

Но Басманова, напротив, обрадовало, что ему сразу удалось заинтересовать царя своими словами.

– Мудрено не понять, государь, – внезапно расхрабравшись, произнес он смело. – Есть подле тебя государь, человечешко один, из твоих холопей приближенных... Дерзнул тот человечешко про тебя такое слово молвить, государь, что и устам моим грешным не выговорить...

И со смиренным видом глубоко взволнованного и оскорбленного человека хитрый Басманов низко потупил голову.

Царь сел на своей постели, на высоко взбитых пуховиках. Его лицо побледнело и исказилось гневом. Глаза блуждали. Он схватил костлявыми пальцами плечи Басманова и, тряся их изо всей силы, прохрипел с пеной у рта:

– Кто дерзнул? Кто? Кто? Говори, холоп!

Теперь уже и сам Басманов струсил. Он понял, что надо действовать скорее и клеветать на врага умеючи и половчее насколько можно, не то самому худо будет, самому несдобровать. И, глядя в лицо царя, он, сам не менее его взволнованный и бледный, проговорил, срываясь и путаясь каждую минуту:

– Князь Овчина... Дмитрий Оболенский худо говорил тебе, государь... Говорил на пиру намедни... что... что... жесток ты не в меру... понапрасну людей губишь и что мы все... холопы твои, псы негодные... И что такому царю не

следовало бы Русью править, а нас, холопей...

– Довольно! – громовым голосом крикнул царь так, что дрогнули стены терема и сам Федор Басманов в страхе припал головой к полу. – Довольно! Молчи уж... Знаю... знаю, что далее говорить станешь... А врага нашего я угощу знатно; так угощу, что долго Митенька речи свои непристойные помнить будет...

Затем, подумав немного, прибавил:

– Вот что: поезжай к нему, Федя! Сейчас, сегодня же, сию минуту поезжай, да честь честью в гости его зови к нам, на пир честной! Скажи, сам государь-батюшка приказал просить пожаловать князеньку чин чином! Да про разговор твой со мною ни слова... Понял меня?

– Понял, государь!

– А теперь одеваться мне! Да к ранней обедне чтобы звонить начинали... Черную мне рясу подай и всей нашей братии вели собираться!

И с сердито подергивающейся бородкой и трясущимися губами царь отдался в руки появившихся по первому зову спальников, бережно приступивших к облачению царя.

II

Через полчаса по широкой дороге, ведущей от дворцового крыльца к единственной церкви Александровской слободы, куда переехал на жительство царь Иван Васильевич с семьей и со всем своим двором и имуществом, двигалось странное шествие.

Впереди, одетый в длинную черную рясу и черный же монашеский клобук, тяжело опираясь на посох, шел сам Иван Васильевич, грозный царь всея Руси. За ним чинно, по двое в ряд, выступали его приближенные, одетые точно так же, как и царь, в черные рясы и скуфьи на головах. На колокольне церкви, одетый в тот же монашеский костюм, стоял рыжий, рябой, со зверским лицом человек и, истово раскачивая за веревку большой церковный колокол, звонил изо всей мочи. Это был один из главных советчиков царя, злейший враг всех родовитых земских бояр, палач и мучитель невинных и виновных жертв, Малюта Скуратов-Бельский.

Он был назначен царем на должность звонаря и каждое утро и каждый вечер взбирался на колокольню и собирал всю братию, как называл царь своих приближенных, к заутрене, обедне и вечерне.

По первому удару колокола сам царь и его приближенные спешили надеть монашеские одеяния и шли в церковь. Здесь царь Иван Васильевич простирался перед святыми иконами

ниц и горячо молился. Пот градом лился с его лба и капал на холодные плиты каменного пола. Он бился иногда головой об эти плиты, и капли крови выступали у него на лбу.

О чем же молился царь? Чего он просил у Бога? Почему так страдальчески-вымучено было его усталое от бессонницы и тяжелых дум худое лицо?

Царя Ивана Васильевича называли Грозным царем. И называли так недаром. Он действительно был грозен и жесток. Много людей, и виновных, и невинных, было замучено и загублено ближайшими приспешниками царя по его царскому приказу. Много крови и слез лилось в то тяжелое время на Святой Руси...

Но царь Иван Васильевич не всегда был таким жестоким правителем. Было время, когда ни казни, ни пытки не омрачали его славного царствования. Не сразу и не без причины стал царь таким жестоким. Едва достигнув трехлетнего возраста, будучи еще наследником великого князя Василия, маленький князь Иван лишился отца. Великий князь (тогда еще не было царской власти, а была власть великокняжеская) умер, оставив власть своей супруге Елене из рода Глинских. Но и великая княгиня вскоре умерла. Тогда государством, за малолетством ее сыновей, Юрия и Ивана, стали править бояре.

Князю Ивану Васильевичу, наследнику престола, было только восемь лет от роду. Чтобы приручить ребенка и забрать власть над ним, бояре всячески потакали его выход-

кам, учили его недобрым поступкам, развивали в мальчишке дурные наклонности. Восемилетний Иван сбрасывал кошек с высокого крыльца и из окон теремов на улицу и забавлялся мучениями несчастных животных. Когда он подрос, его любимым занятием было скакать верхом на коне по улицам Москвы и пугать, а иногда и просто давить людей копытами лошади. Так длилось до той поры, пока семнадцатилетнего государя не женили на молодой девице Анастасии Романовне из рода князей Захарьиных. Молоденькая государыня была кроткой и тихой и сумела смягчить тяжелый и крутой нрав царя. Он перестал быть жестоким с людьми и животными и стал больше и больше обращать внимание на благоустройство Московского государства. Семнадцати лет он венчался на царство и вместо великого князя всея Руси стал именоваться царем. Затем тотчас же был собран Земский собор, то есть были созваны выборные люди со всей России, и вместе с царем сделали много разных преобразований, полезных и нужных в делах правления.

В это время случился большой пожар в Москве; выгорела добрая половина столицы. Это вынудило молодого царя забыть прежние потехи и буйные развлечения и заняться серьезно делами государства. Слова укоризны, смело сказанные юному царю протопопом Благовещенского собора Сильвестром, сильно подействовали на Иоанна¹.

¹ Князь Курбский, увлеченный библейским образом пророка Нафана, обличающего царя Давида, рисует картину исправления молодого царя под влиянием

Началось время царствования Иоанна. Была покорена Казань, Астрахань и часть Ливонии. Народ вздохнул спокойно. Вдруг заболевает царь серьезно и опасно и требует, чтобы бояре, а за ним народ присягнули его сыну, малютке Дмитрию. Но часть бояр не хочет иметь царя-ребенка и переходит на сторону двоюродного брата царя Владимира, князя Старицкого, которого думает после смерти Иоанна выбрать в цари. Протопоп Сильвестр и окольный Адашев, ближайшие друзья Иоанна, тоже находят нужным предложить престол по его смерти князю Владимиру Старицкому. Когда царь Иван Васильевич поправился, встал с постели и узнал обо всем, в его душе закипела непримиримая ненависть к боярам. А тут еще наследник царевич и сама царица Анастасия умерли, и в народе пошли темные слухи, будто бы их отравили Сильвестр и Адашев, чтобы никто не мешал войти на престол князю Владимиру Старицкому. И участь прежних друзей, а также и многих других бояр, была решена. Горе, ненависть, клевета и недоверие к окружающим круто изменили к худшему характер царя. Он начал с того, что заточил в дальний монастырь Сильвестра, где он проводил высокую духовную жизнь и велел бросить в тюрьму Адашева, где последний вскоре и умер, не дождавшись суда над ним.

Всех родственников своих, недавних любимцев, царь под-

протопопа Сильвестра. Еще более усилил краски Карамзин, изобразив Сильвестра являющимся перед Иоанном в момент московского пожара 1547 г. «с поднятым, угрожающим перстом» и с пламенной обличительной речью.

верг опале, многих из них сослал, лишив имения и казны, других казнил лютою смертью.

Но этим не ограничился гнев царя. Как-то ранним зимним утром царский дворец опустел, а из Москвы к Александровской слободе² двинулись сани и колымаги с царским имуществом, с самим царем и семьею, со всеми приближенными и свитой царской.

В Москву же был послан гонец с грамотой, которую царь приказал читать всенародно. В этой грамоте говорилось, что государь Московский, разгневанный на измены и крамолы ближних бояр, уезжает из Москвы и вернется к делу правления лишь в том случае, если ему позволит весь народ распоряжаться, как заблагорассудится, с его царскими послушниками и изменниками.

В тот же день были собраны выборные люди из духовенства и бояр и отправлены в Александровскую слободу с просьбою к царю от всего народа московского не покидать его и продолжать царствовать над Русью. И царь согласился.

Согласился с тем, что никто не посмеет перечить, мешать ему, что бы он ни предпринял с этой минуты. Народ покорно согласился на все. Иван Васильевич принялся за свою страшную расправу. Он начал с того, что разделил Русь на две части: на опричнину и на земщину. Бояре составляли земщину и продолжали участвовать в делах государя, заседали в думе, принимали с царем иноземных послов и т. п.

² Ныне город Александров Владимирской области.

Но гораздо большее значение имела опричнина.

Название опричнина происходило от слова «опричь», то есть «кроме». Опричник никому не подчинялся, кроме царя. Он был и царским телохранителем, и первым слугою у царя. Опричников сначала набрали до 1000 человек, вскоре их накопилось до 6000. Для их содержания были назначены многие города, с которых и собирали дань.

Это была страшная царская свита. Где бы ни появлялись опричники, всюду оставались за ними пустота и разорение, а очень часто и гибель, смерть людей. Они ездили всегда верхом в нарядных одеждах, в бархате и соболях, в золотом шитых кафтанах. На седла за спиною они привязывали чучела собачьих голов и метлы. Это означало, что они готовы загрызть, как собаки, врагов царя и вымести до конца всякую измену из государства.

Большую частью опричники происходили из незнатного рода, но верностью царю дослуживались до чинов и становились знатнее всяких земских бояр. Правда, иногда попадали в число опричников и князья, и дети боярские, но это случилось редко. Для знатного родовитого боярина считалось позором играть роль палача и грабителя, какую с удовольствием брал на себя опричник.

Вот какими людьми окружил себя Иван Васильевич. Часть из них он выделил и сделал своею ближнею «братией». Он велел этой братии понаделать себе монашеские одежды и каждое утро и каждый вечер аккуратно являться в церковь

и молиться там вместе с ним за упокой всех убитых и погубленных опричниною людей. Сам царь кланялся в землю так усердно, что на лбу у него оставались синяки. Молитвами он хотел выпросить прощение у Бога за свои лютые казни. Но хотя Иоанн и старался оправдать эти казни тем, что он истребляет будто бы врагов, желающих отнять у него царство, совесть все-таки ужасно мучила его. Он не спал по ночам. Ему часто грезились души замученных им людей, и нередко царь срывался с постели, приказывал будить братию, и начинал при всех громко, с отчаянными воплями каяться и молиться...

После молитвы все шли в трапезную. Царь читал Жития святых, братия обедала. Внезапно раздавался крик «гайда! гайда!» Все выскакивали из-за стола и, едва успев переодеться, бросались на коней и следом за царем летели из Александровской слободы в Москву открывать новую измену и тут же на месте пытаться, а иногда и казнить мнимых изменников. А измена чудилась царю везде и повсюду среди земских бояр, которые неодобрительно смотрели на учреждение опричнины.

Толпа опричников врывается в дома, грабит их дотла, сжигала, а хозяев увозила в слободу, и там главный опричник, палач Малюта Скуратов, замучивал несчастных в застенках до смерти... Иной раз не было никакой измены со стороны земца-боярина, а просто новые телохранители царские клеветали на богатых людей московских, зная заранее,

что все имение загубленных богачей достанется им.

Вот какое тяжелое время переживала Русь, и немудрено, что лучшие люди того времени спешили уехать подальше, иной раз за литовские границы, где не мог достичь их со своею опричниною гневный и грозный царь.

III

– Ау, Ванюша! Ау! Ау!

– Ау, княгинюшка!

– Где я, угадай-ка!

– Постой, дай срок, доберусь до тебя!

– Ау! Ау! Ищи-кось поладнее!

– Ладно, уж ладно, доберусь! Ан и нашел! Ну, што! Схоронилась, что ли? От меня, княгинюшка, трудно схорониться, у меня глазоньки видят зорко! Ровно у птицы!

Среди разросшихся густо кустов смородины, отягощенных, словно кровью, налитыми алым соком ягодами, на зеленую лужайку выскочили две фигуры. Одна высокая, стройная, другая маленькая, гибкая и проворная, как обезьяна.

Эти двое были: юная восемнадцатилетняя княгинюшка Овчина-Оболенская и десятилетний внук покойного дядьки ее мужа Силантыча, мальчуган Ванюша.

Юная княгиня, несмотря на то, что уже три года как замужем за князем Дмитрием Ивановичем Овчиной-Оболенским, казалась еще девочкой. У нее были веселые ребяческие глазки, опущенные длинными ресницами, румяные щечки с ямочками и толстая-претолстая коса, разделенная на две пряди и тщательно упрятанная под розовую атласную кику, унизанную камнями самоцветными. На юной княгинюшке был надет белый шелковый летник с крупными жем-

чужинами вместо пуговиц, а на плечах, несмотря на лето, — бархатная телогрея, отороченная собольим мехом по подолу и рукавам.

Румяная, полненькая, хорошенькая княгиня с беспечным веселым смехом хоронилась в кустах от милovidного кудрявого Ванюши, одетого в красную рубашку с чеканным золотым пояском и в бархатные сапожки, обшитые немецкой кожей, с кисточками, и в шитую шелками мурmolку, подарок самой княгинюшки.

Князь и княгиня души не чаяли в Ванюше, которого любили, как родного сына.

Господь не посылал им собственных деток, и они всей душой привязались к чужому. Старик Силантьич, дедушка Вани, верой и правдой служил князьям Овчина-Оболенским и научил горячо любить их и сироту внука, воспитывавшегося в их доме.

Когда Ване минуло шесть лет, молодой князь Овчина-Оболенский женился, и ему в приданое с остальными слугами был дан Ванюша. Юной княгинюшке Дарье Митрофановне понравился веселый, кудрявый, хорошенький мальчик, и она стала играть и забавляться с ним не как с маленьким холопом и слугою, а как с младшим братишкой-приятелем. Княгиня Дарьюшка сама была еще в душе сущий ребенок и охотно играла и в прятки, и в горелки с Ванюшей и толпою сенных девушек, охотниц побегать и пошалить.

Сегодня девушки были заняты. Надо было перебраться и пе-

ресчитать под надзором старой нянюшки одежды княжие, и юная княгинюшка играла в саду вдвоем с Ваней. Они прятались друг от друга, аукались и перекликались, совершенно позабыв о том, что наступило время полдничать и что князь Дмитрий Иванович давно поджидает их в хоромах.

– Слышь, Ваня, едет кто-то? – вдруг неожиданно вскричала, вылезая из малинника, юная княгинюшка. – Никак к нам? Да и то к нам! – спохватилась она, разом приходя в волнение. – Ахти, беда мне, гость на двор, а хозяйка по саду словно чумная кошка взад-вперед бегают. Беги домой к князю, Ванюша. Скажи, что гость жалуется... Дай-кось только догляжу малость, что за гость такой! – и, говоря это, княгинюшка легче козочки вскочила на скамью, заглянула через забор на улицу, по которой ехал невидимый всадник...

Взглянула и обмерла княгинюшка. Алая краска сбежала с ее мгновенно побледневшего личика, и она, машинально схватив и сжав руку Ванюши, прошептала побелевшими губами:

– Ахти, беда нам! Сам Федька Басманов, злейший враг князя нашего, к нам едет! Не к добруэто, не к добру, Ванюша! Как Бог свят, не к добру!

И, подавив кое-как волнение, об руку с мальчиком опроремью кинулась к дому.

IV

Князь Дмитрий Иванович Овчина-Оболенский уже давно заметил нежданного гостя в окно светлицы. Он хорошо видел, как его злейший враг, первый опричник царский, в дорожном терлике³ и лихо заломленной мурмолке подъехал к тесовым воротам княжьих хором и, спешившись, ударил железным кольцом запора.

Князь Дмитрий, немного бледный, чужая недоброе в этом приезде, велел холопам бежать открывать ворота, а сам не торопясь вышел на крыльцо, где по старинному русскому обычаю хозяева встречали гостя. Минуты через две перед ним стоял опричник царский.

– Не ждал, не гадал меня, чай, видеть, князенька, – насмешливым голосом произнес Басманов, – не люб я тебе, знаю. Незванный гость хуже татарина, и это знаю тоже, да что велишь делать, коли сам царь-батюшка меня к тебе гонцом послал... Велел тебе, княже, его государева милость, челом ударить на просьбишке... Просит тебя государь Иван Васильевич к себе на пир пожаловать, в палаты царские в Александровскую слободу, – с новым низким поклоном заключил Басманов, и его румяные губы и голубые дерзкие глаза улыбнулись насмешливо.

³ Короткий кафтан.

Увидел князь эту улыбку и подумал: «Плохо мое дело... Недаром он юлит передо мною. Видно, оболгал меня перед государем, гнев царский на меня навлек... Недоброе что-то на пиру меня ждет государевом... Ну, да что делать будешь!.. От царя, как от Бога, не убежишь. Будь что будет!»

И поразмыслив обо всем этом в одну минуту, спокойно ответил послу:

– Челом бью на милости великому государю, его слуга верный – и гостем его быть за великую честь почту... Низко кланяюсь батюшке-царю...

– Так будешь в слободе? – спрашивает снова Басманов, а у самого глазки, как у змеи, снова злыми огоньками зажглись.

– Царь велел – стало быть, буду, – отвечал спокойно князь.

– Ин так и передам царю. А теперь прощенья просим на беспокойстве... Обратного надо в слободу скакать к государю... Небось, здесь ты мне хлеба-соли не предложишь! – засмеялся недобрый смехом Басманов.

Князь невольно усмехнулся.

– Коли не побрезгаешь, отведай-закуси, чем бог послал! – предложил он неохотно опричнику, надеясь, что последний откажется от его угощения.

В прежнее время обычай гостеприимства был почитаем более всех прочих обычаев на Руси. Даже заклятому врагу и то никто не решался отказывать в угощении в своем доме.

Но князь Дмитрий слишком ненавидел Басманова, слишком помнил его обиду и чуял новую напасть с его стороны,

чтобы охотно предложить ему разделить с ним трапезу. И гость понял это.

Со злой торжествующей улыбкой уехал Федор Алексеевич со двора князя.

V

Лишь только топот копыт заглох в отдалении, как дрожащая, бледная и испуганная княгиня вбежала в горницу и бросилась на шею мужа. За нею незаметно проскользнул и Ванюша с явной тревогой на детском испуганном личике, со взволнованно поблескивающими глазами.

– Не ездь на пир к царю, Митя, – молящим шепотом говорила княгиня. – Скажись больным, пошли гонца в слободу! Чую я, соколик мой, что недоброе враг наш Федька надумал! Оклеветал он тебя, голубя моего сизого, перед царем... Худое чует мое сердце, недоброе что-то... Побереги себя, Митя, не ездь, голубчик... Погубят они тебя...

И юная княгинюшка залилась слезами.

Сердце князя дрогнуло при виде горя молодой жены.

– Никак невозможно не ехать мне, Дарюшка, – произнес он тихим, скорбным голосом. – Нешто дозволено царю перечить? Велено ехать – стало быть, и еду... Да ты не кручинься больно много, голубка моя. Может, ничего и не стряется лихого со мною... Может, чудится нам это только, – попробовал успокоить жену князь.

– Ой, не чудится, соколик... Сердце так и бьется, так и замирает! – разрыдалась княгиня на груди мужа.

– Полно, полно, Даша... Господь милостив, все обойдется... А не вернусь... – тут взгляд князя с тоскою обежал гор-

ницу и, вдруг заметив Ваню, остановился на нем. Он протянул руку мальчику, робко притаившемуся у порога, и сказал твердым, веселым голосом, стараясь ободрить молодую княгиню: – А, не приведи Господи, стряется что со мною, так ты, Ванюша, побереги княгинюшку, не покидай ее, заступись за нее, коли надо, утехой, радостью ей будь... Один ты у нее, коли погубят меня, останешься, паренек... Ишь, вырос какой защитник большой, от пола пять вершков будет! – заключил со смехом князь речь свою шуткой.

Но в этом смехе невольно послышались слезы и необъятная грусть.

Ванюша понял эту грусть, эти слезы и, с серьезным видом подойдя к князю, произнес взволнованным голосом:

– Не бойся, княже, я защищать княгинюшку нашу всегда буду... Только и ты вернешься здоров-невредим с царского пиру... Господь помилует и спасет.

И степенно, как взрослый, он поцеловал княжескую руку.

Через час подали князю коня. Трогательно простившись с женой и приемышем, князь Овчина-Оболенский поскакал в Александровскую слободу.

VI

Шумен и весел был пир у царя... Более шести часов уже длился он кряду. Сменили и вынесли несколько десятков перемен всяческих яств и блюд царские стольники. Налили и осушили до сотни серебряных братин и кувшинов, под тяжестью которыхгнулись столы. Золотые, серебряные и сердоликовые чарки то и дело наполнялись и опорожнялись захмелевшими гостями царскими.

Чего-чего только не было съедено и выпито за эти недолгие шесть часов. И фряжские вина, и романея, и мед, и брага – все это сопровождали жирные куски подовых пирогов да курников, да окорока мяса, жареные, вареные и студеные, да дичь, разные куры и утицы, рябчики и тетерева. Царь, как ласковый хозяин, угощал гостей, сидя, по обычаю, за отдельным столом. Царские стольники и чашники то и дело подзывались им, и он пересылал с ними самые лакомые куски и чарки с вином тем гостям, которых хотел почтить своей особенной царской милостью.

Вдруг глаза царя, до сих пор ласково оглядывающие собравшихся гостей, стали сумрачны и суровы. Он увидел, что один из присутствующих на пире почти не дотрагивается до яств, почти не отвеживает вина. И лицо у гостя будто бы не весело, а сумрачно, бледно и совсем не соответствует веселому пиру.

Этот гость, сумрачный и серьезный, был не кто иной, как князь Дмитрий Иванович Овчина-Оболенский.

Невесело было что-то на сердце князя. Не елось, не пилось ему на царском пиру. Предчувствие чего-то недоброго, что должно было неминуемо случиться, терзало душу князя. А тут еще уселся против него его злейший враг Федор Басманов и не спускал с него насмешливо-злобных глаз.

– Что не отведаешь моего хлеба-соли, Митя? Что не прихлебнешь вина заморского? Аль не по вкусу моя трапеза тебе пришлась? – внезапно услышал Дмитрий Иванович голос царя и, подняв голову, увидел подергивающееся от затаенного гнева, побледневшее лицо царя.

– Неможется мне что-то, государь, – произнес князь Дмитрий, и опять сердце его кольнуло недобрым предчувствием.

– От недуга у меня лекарства сколько хошь! – недобрым смехом рассмеялся царь. – Эй, Федя, – кликнул он своего любимца, – налей князю чашу зелена вина, да поплнее, слышь... А ты, князь, не побрезгуй на моем царском угощенье, духом осуши, чашу за здравие мое!

Князь Овчина-Оболенский низко поклонился царю. От такого угощения нельзя было отказываться ни под каким видом. За здоровье царя должен был пить каждый, и потому он принял твердой рукой поданную ему Басмановым огромную чашу, полную вина, и стал пить искрящуюся в граненом сердоликовом сосуде влагу.

Царь впился глазами в князя и с насмешливою улыбкою следил за каждым глотком.

Сидевшие за столом бояре и опричники тоже не спускали глаз с князя, догадываясь, что неспроста царь так угощает своего гостя.

Но внимательнее всех был Федор Басманов: в его злом взгляде так и видна была плохо скрывавшаяся радость. «Ага, – говорил этот взгляд, – подожди, обида, которую ты мне нанес, не пройдет тебе даром!»

Князь между тем продолжал осушать чашу с вином. Раз-два останавливался, чтобы вздохнуть, и опять прикладывал губы к краям сосуда.

Но вот уже полчаши выпито. Еще немного, и воля царя будет исполнена. Как вдруг что-то ударило в голову князю, не привычному к вину... Зазвенело в голове, закружило в глазах, зашумело в ушах... Покачнулся князь и тяжело опустился на лавку.

– Уволь, государь, не могу более ни глотка выпить, ни капли, – произнес он упавшим голосом и глаза его с мольбою обратились к государю.

– Ой, и слаб же ты, видать, Митя! – хрипло рассмеялся царь, – не побоялся обидеть нас, твоего государя, до полчаши не допил... Видно, не по душе пришлось угощение мое... Ну да будь по-твоему, княже. Не пей этого вина, выпей другого. Спустись в погреб с холопьями моими и выбери там какого хочешь питья заморского, какое по вкусу придется... Выпей

его в моем погребе за наше царево здоровье и к нам сюда воротись!

Царь говорил взволнованным, зловещим голосом, его лицо дергалось и бледнело все больше и больше... Он переглянулся странным, значительным взором с Басмановым и криво усмехнулся побледневшими губами, потом махнул рукой. В эту же минуту два холопа, стоявшие у дверей, подошли к князю Дмитрию и, приподняв под руки ослабевшего князя, повели его из пирной палаты в сени.

В это время Басманов быстро подошел к царскому столу, низко поклонился и что-то тихо спросил. Царь только кивнул головой в ответ и еще раз кинул злобный взгляд на князя. Басманов опять отвесил низкий поклон, побежал вслед за холопами и шепотом передал приказание от царского имени.

– Поняли? – спросил он их в заключение.

– Как не понять! Вестимо, поняли! – ответили оба в один голос.

В сенях, прилегавших к широкой палате, шла лесенка в подполье, в царские погреба; по ней спустился князь Дмитрий, за ним спустились и два сопровождавших его холопа. Лишь только все трое они вошли в погреб, один из холопов сунул руку за пазуху, вытащил пук веревок, и, прежде чем князь Дмитрий успел сказать слово, крикнуть, позвать на помощь, толстая веревка, связанная петлей, упала на его шею.

А наверху, в палате, в это время шло по-прежнему шумное пирование, и гостеприимный хозяин-царь угощал своих

гостей...

VII

Встало, поднялось и снова зашло красное солнышко, наступила темная, душная июльская ночь, а князь Овчина-Оболенский все не возвращался в свои хоромы. Княгинюшка Дарья совсем извелась, ожидая мужа. О сне и думать было нечего. Какой уж тут сон, когда неизвестно, что случилось с супругом любимым, неизвестно, какая беда неминуемая постигла его!

Молодая женщина то металась по горницам, как белка в колесе, то падала на пол перед киотом с образами и горячо молила угодников спасти, оградить ее мужа от всякого зла.

А ночь все подкрадывалась, все надвигалась над княжескою усадьбою... Взошла луна на небо... Заглянула в горницу и осветила робко приютившуюся у окна фигурку.

– Княгинюшка, родненькая, – прозвучал детский голосок из угла горницы, – не убивайся, не плачь... Уж лучше отпусти меня в царскую слободу... Я съезжу туда да узнаю от людей толком, что с князьенькой нашим стряслось...

– Что ты, Ваня, что ты, милый! Нешто дело ты задумал, глупенький! – взволновалась княгиня. – Да тебе ли, такому малышу, одному в слободу ехать!..

– Я не малыш, княгинюшка, Сам князь мне тебя защищать поручил, так нешто могу я сложа руки сидеть да кручину твою видеть! – проговорил мальчик и глазенки его яр-

ко блеснули отважным огнем.

Но княгиня только рукою махнула и снова распростерлась перед иконами, стала горячо молиться.

А Ванюша уже выскользнул из горницы так же незаметно, как и проскользнул в нее и, миновав темные сени, вышел на крыльцо. Луна сияла с темного неба и освещала двор князей Оболенских со всеми службами и пристройками. В эту ночь было ясно и светло, как днем. Быстрая мысль промелькнула в голове Вани.

«Что ежели взять с конюшни Ветра, любимого княжьего коня, и съездить в слободу, разведать все о князе, успокоить княгинюшку?..» Чего лучше! Никто и не заметит, пожалуй, его, Ванюшиной, отлучки. Вот славно-то придумал он!

И, разом решившись на задуманный поступок, Ванюша с сильно забившимся сердцем проскользнул к конюшне, находившейся в дальнем углу двора, не без труда отодвинул тяжелый запор с дверей ее и вывел оттуда Ветра, редкостно красивого вороного коня князя Дмитрия. Живо оседлал его мальчик взнуздal тут же у дверей конюшни и тихо повел к воротам. Проведя через них лошадь, снова прикрыл поплотнее. Потом вскочил в седло и, дав шпоры коню, помчался по пыльной дороге.

VIII

До Александровской слободы был не один десяток верст. Но добрый конь мчал Ваню так быстро, что мальчик, весь погруженный в свои невеселые мысли, едва заметил длинный путь.

Начинал брезжить слабый утренний рассвет, когда взмыленный конь вместе с маленьким всадником очутились у заставы Александровской слободы, похожей на неприступную крепость, обнесенную высокими стенами, под которыми проходил глубокий ров, до краев наполненный водой.

Стражник, находившийся у слободской заставы, грубым голосом остановил мальчика, спрашивая, куда и к кому он едет.

Ванюша положительно не знал, что ему отвечать. Сбивчиво и бестолково, звенящим от волнения голосом он стал умолять пропустить его к царскому дворцу, где находился его хозяин, уехавший из дому еще два дня назад.

– А кто твой хозяин будет? – тем же грубым голосом спросил мальчика стражник.

– Князь Овчина-Оболенский! – отвечал Ваня, с любовью и нежностью произнося имя своего благодетеля.

– Ну, паренек, – рассмеялся хриплым голосом стражник, – опоздал ты малость. Не найти тебе князя. Далече он. Еще намедни твой князь в царских погребах так зелена вина

опился, что душу Богу отдал в тот же час.

– Как опился?! Как душу Богу отдал?! – испуганно вскричал мальчик и тотчас же крикнул еще громче, весь трясясь от гнева и обиды: – Врешь ты все!.. Не пьет мой князь вина!.. Не мог он выпить столько, чтобы отдать душу Богу!.. Погубили его злые люди либо скрыли где-нибудь и не выпускают домой! – заключил свою пылкую речь уже сквозь рыдания Ванюша.

– Ин видать, что ты, паренек, не глупее нашего, – вмешался в разговор другой стражник, – и то правда, убили твоего князя за то, что он первый изменщик и крамольник перед царем был...

Глаза Вани при этих словах широко расширились от ужаса. Лицо стало бледным, как у мертвеца. Губы задрожали. Слезы ручьем хлынули из глаз.

– Неправда!.. Лжете вы оба! – закричал мальчик. – Не убили моего князьку, не могли убить!.. Не за что... Измены он не творил... Не могли погубить его... Жив он... только у царя гостит... Домой его не пускают... Пустите же меня к нему... Все возьмите: и кафтан мой, и шапку, и коня князьего, только меня за заставу пропустите, там я все узнаю... Именем Господа Бога вас о том молю!

Голос Ванюши звенел таким неподдельным отчаянием и тоскою, его слезы говорили о таком безысходном горе мальчика, что грубые, зачерствелые сердца стражников невольно дрогнули. К тому же великолепный вороной конь, бивший

от нетерпения копытами о землю, не мог не понравиться им, и мысль, что овладеть таким конем можно без денег, даром, пришла по душе обоим стражникам.

Они молча переглянулись между собою, потом один шепнул что-то другому, и этот другой, значительно смягчив свой грубый голос, обратился к Ване:

– Ин будь по-твоему, малец, отдавай коня и вали с Богом через заставу... Да ко дворцу не больно спеш... Там псы спущены с цепи, злые они. Лучше схоронись в кусты при дороге да дождись, когда царь со всей своей братией к заутрене пойдет... Може, тогда от слуг его и узнаешь что об участи твоего князя...

Ванюша едва слышал, что говорили ему стражники. Бросив им поводья, он быстро зашагал по дороге, ведущей ко дворцу. Но не успел он сделать и ста шагов, как неожиданное диковинное зрелище представилось его глазам, заставив мальчика, словно вкопанного, остановиться на месте...

IX

Прямо навстречу Ване подвигалось странное шествие. Длинная вереница черных фигур, одетых в монашеские рясы с высокими клобуками, с зажженными свечами в руках, шла по направлению к церкви. Впереди, тяжело опираясь на посох, выступал высокий, худой, сторбленный человек с изможденным от болезни и страданий лицом, с седоватой бородой. Ванюша сразу узнал в высоком человеке царя Ивана Васильевича, которого не раз видывал и во время шествия его из собора Московского, и проезжающего по улицам Москвы.

Новая внезапная мысль толкнулась неожиданно при виде царя в голову Вани:

«Что если броситься в ноги царю, что если спросить его самого об участи князя? Что если умолить царя отпустить поскорее князя Дмитрия домой?»

И не долго думая по этому поводу, Ванюша со всех ног кинулся навстречу царю и упал ему в ноги.

Длинное шествие разом остановилось. Сам царь вздрогнул от неожиданности при виде мальчика, распростершегося у его ног и обнимавшего его колени.

Удивленные и смущенные опричники растерялись, не зная что им делать.

– Кто ты, малец? Откуда взялся? – послышался голос царя

над головою Вани. – Чего просишь? На чем бьешь челом? – ласково прибавил царь.

В одну минуту Ваня был уже на ногах.

– Царь-государь! Батюшка милостивый! – произнес он дрожащим голосом. – Помоги мне моего князя найти... Ты знаешь, вестимо, куда подевался наш князь...

– Князь? Какой князь? Говори, малец. Я что-то и в толк речей твоих не возьму, – проговорил царь, и голос его опять дрогнул обычным раздражением.

Ваня смутился. Мальчику казалось, что царь должен был понять сразу, о каком князе шла речь, и помочь ему найти его, Ваниного, благодетеля. Но, очевидно, дело выходило много сложнее, нежели это думал мальчик. Он собрал, однако, все свои силы и, стараясь говорить насколько можно толковее, произнес:

– Князя нашего, Дмитрия Ивановича Овчину-Оболенскаго, государь, на пир звал ты к себе наемни... Федора Алексеевича Басманова за ним присылал... Поехал князь... А домой он не вернулся... Княгинюшка все слезы повыплакала... Боится, чтобы лиха какого не случилось с князем... Ну, вот я и решился поехать, разузнать в слободе, куды подевался кормилец наш...

– Один приехал? – изумился царь, окидывая маленькую фигурку мальчика сочувственным взглядом.

– Один, вестимо. Что мне сделается? На Ветре доскакал. Стражники только остановили у заставы... Непутевые такие

речи говорили они, будто бы князь помер, будто князя убили за измену царю... Да быть этого не может... Князь наш всегда тебе, государь, первым верным слугою был, это, как Бог свят, правда. Да и может ли царь казнить гостя своего, когда на пир честной зовет его в свои палаты!.. Врут, видно, стражники... Жив и невредим наш князь... У тебя, видно, во дворце гостит... Пусти его домой, государь... Верно говорю тебе, княгинюшка его который день глаз не осушает!

Горячо и искренне звучала речь ребенка. Горели его синие глаза, горели алым румянцем пылающие щеки. На диво хорош да пригож был в эти минуты Ванюша!

Смутно стало на душе царя. Тяжело стало ему воспоминание о князе Овчине-Оболенском. Вспыхнуло румянцем смущения лицо царя. Беспокойно забегали из стороны в сторону его горящие маленькие глазки...

– Кто ты, паренек? Как своему князю приходишься? Сыном али сродственником будешь? – спросил он мальчика, избегая его взгляда.

– Не сын и не сродственник, а просто приемыш я княжий, – отвечал Ваня. – Дед мой верой и правдой старому князю еще служил, а ноне я молодому князю Дмитрию Ивановичу с его княгинюшкой послужить хочу... Сделай милость, государь, вели проводить меня к князю! – смелым, ясным голосом звонко и бодро произнес Ваня.

– Ой, больно ты что-то прыток, парень, – проговорил царь Иван Васильевич и грозно нахмурился, – князя увидишь, ко-

гда велю тебе, а пока что ты мне послужи малость... Больно ты смел да храбр, паренек... Больно занятен... Такого нам не доводилось повстречать доселе. Нравишься ты мне, паренек... И хочу я тебя в моем тереме пристроить... государыне-матушке да царевне, да княжнам на потеху... Занятный паренек, и шутить-то ты, я чаю, мастер... Больно приткий да бодрый. Таких ребяток люблю... И назначаю я тебя от нашей милости царской нашим теремным забавником... Эй, Федя! – кликнул он своего любимца Басманова, – отведи мальчика в наш терем, пушай его обрядят поладнее... Ужо взглянуть на него приду... А сейчас, братия, во храм Божий спешаем! Время упустили и то!

И царь, кивнув слегка головою озадаченному Ванюше, снова двинулся вперед, опираясь на свой тяжелый посох. За ним двинулась, по двое в ряд, и вся его черная свита. Большой колокол ударил глухо с колокольни церкви, как бы приветствуя приближающегося царя.

– Ну, идем, что ли, слышал, небось, чем царь тебя пожаловал: царским забавником будешь отныне, – произнес далеко не ласковым голосом Басманов и, схватив за руку Ванюшу, повел его в направлении царских теремов.

– А князь-то мой как же будет? А княгинюшка-то как же? – испуганным голосом спрашивал своего спутника мальчик.

Тот незаметно усмехнулся недоброй усмешкой себе в усы.

– Ладно уж, ладно, – проговорил Басманов, – к твоей кня-

гинюшке гонца уже пошлем, а ты... ты вот что: коль хочешь князя выволить из беды, перед царем отличиться постарайся, весели да смехи поладнее его царскую милость да матушку царицу... Ан смотришь – смилостивится царь и князя твоего на волю выпустит...

– Так он жив, князенька мой желанный? – вскричал вне себя от радости Ваня. – И я его из беды выволить могу?

– Можешь, можешь, – отвечал с обычною своею недоброю усмешкой Басманов. – Только постарайся перед царем отличиться, посмешить да повеселить его как следует. Смотришь, и сменит свой гнев на милость батюшка наш, и ради тебя князя твоего простит, ты только, паренек, постарайся.

– Уж так-то постараюсь, уж так-то! – воскликнул с горячностью Ваня, поняв одно, что его родимый князенька попал в какую-то беду и что спасти от этой беды любимого господина может только он один, Ваня. Мальчик так увлекся этой мыслью, что забыл даже о том, какой непримиримый, злейший враг его князя разговаривал с ним в эту минуту, и покорно шел туда, куда вел его этот враг.

Х

Темно и душно в высоком тереме царицы Марьи. Косые лучи заходящего солнца едва проникают сквозь цветные оконца светлицы. Мягкий неверный свет бросают лампы, зажженные перед суровыми ликами святых угодников в золотых, осыпанных драгоценными камнями ризах.

Сама царица Марья Темрюковна, вторая жена царя, из рода кавказских князей Темрюков, сидит на лавке, крытой полавочником, богато расшитым золотую вязью и аграмантами⁴. На ней роскошная ферязь⁵, обильно украшенная яхонтами и рубинами, накинутая поверх затканного золотым шитьем летника⁶ изумрудного цвета. На голове царицы тяжелый убрус, род повойника. Алмазные серьги с подвесками украшают ее маленькие уши, разгоревшиеся теперь от жары. Личико у царицы смуглое и худенькое, как у ребенка. Только одни огромные, черные, как звезды горящие глаза делают его на диво красивым, почти прекрасным.

Около Марьи Темрюковны сидят малолетняя царевна Дуня, дочь царя от первого брака его с покойной Анастасией Романовной, и две княжны Старицкие, дочери князя Владимира Старицкого, того самого, который не хотел когда-то

⁴ Кружева.

⁵ Верхняя одежда.

⁶ Сарафан.

присягать наследнику царевичу, сыну царя, и сам по просьбе бояр думал сделаться Московским государем.

Его дочери-княжны были взяты от отца в самом раннем возрасте и воспитывались при дворе, как и брат их Василий, наравне с царскими детьми.

Хорошенькие малолетние княжны и царевна, вместе с теремными боярышнями и санными девушками, рассевшись по лавкам, пели песни.

Звонко и весело звенели детские голоса, резко выделяясь среди голосов взрослых.

Красиво и плавно лилась песнь девушек. Слушая эту песню, задумалась царица. Невесело было на душе Марии Темрюковны. Оторвали ее от родных и близких, от вольных гор родимого Кавказа и привезли ее сюда несколько лет тому назад. Скучно ей, душно здесь. Царь жесток и немилостив, всегда хмурый, грозный, ничем не доволен никогда, казнит то того, то другого из своих приближенных. Слезы невольно набегают при этих мыслях на глаза царицы.

Увидели эти слезы две веселые маленькие девочки, царевна Дуня и княжна Марфуша Старицкая, горячо любившие царицу, и опрометью кинулись к ней.

– Не тоскуй, не кручинься, матушка-государыня! Полно, милая! Дай-кошь повеселим тебя! – затараторила веселая Марфуша, обнимая и лаская Марью Темрюковну.

– Ин, слышала, царица, новость нашу? Ведалось тебе, что за диковинный у царя мальчонок в тереме живет?.. На манер

шутенка. Пригожий такой, малюсенький, а такой-то бойкий да веселый, что страсть... Вот бы взглянуть на него хоть одним глазком... Ты бы, матушка-царица, упросила когда царя показать нам его. Братец Васенька да Федя-царевич сказывали, будто больно занятен. Так и пляшет, так и вьется, ровно выюн... Сказывали еще, будто он покойного князя Овчины-Оболенского приемный сын... Будто опился князь зелена вина на царском пиру намедни, а приемыш его прискакал за ним сюда в слободу разыскивать своего благодетеля...

– А царь его при себе оставил, – подхватила царевна Дуня, живая, подвижная девочка лет восьми. – Сказывали, что приказал ему потешать царя повеселее да попотешнее... А чтобы старался шутенок, сказали ему, что его князь не помер, а за свою вину в тюрьме сидит, и что ежели он, то есть шутенок этот, угодит царю, так и князя ему в награду из тюрьмы вызволят... Он и старается, глупый, а князь-то помер...

– Неправда это, не помер князь, а погубили его, не своей смертью погиб, а удушили его в погребке убийцы-холопы по царскому велению, – послышался чей-то дрожащий голос за плечами царицы и обеих девочек.

Те даже вскрикнули от испуга и задрожали всем телом.

Перед ними стояла красавица-девочка лет четырнадцати, с бледным страдальческим и гневным лицом. Серые огромные глаза ее горели мрачно. Густые белокурые косы вздрагивали на дрожащих от волнения плечах и груди. Голос зву-

чал глухо и неровно.

Это была старшая дочь князя Владимира Старицкого, княжна Фима, родная сестра княжны Марфуши и князька Василия.

Княжна Фима была странная девочка. Она единственная из всех живущих в тереме детей и женщин, состоящих при царице, не боялась царя, не боялась открыто говорить о совершенных им казнях и расправах и осуждать за них своего грозного дядю. Часто она на коленях вымаливала у царя милости наказуемым, нередко спасала от казни и гибели осужденных им на смерть людей. И странно: царь Иван, не терпевший помехи и противоречия, иногда слушался голоса этой тоненькой, худенькой, как былинка, девочки с чистым кротким взором больших серых глаз.

У княжны Фимы была какая-то продолжительная, тягучая болезнь в груди. Она поминутно кашляла и таяла как свечка с каждым годом. Государю было жаль этой рано заканчивающейся юной жизни. Он любил Фиму, жалел ее и спускал ей то, чего не спустил бы самым близким людям.

Но если княжна Фима не боялась ничего и бесстрашно говорила о том, о чем боялись заикнуться в царицыном тереме другие, то сама царица пуще всех боялась осуждать супруга-царя.

Она побелела как снег от слов княжны и испуганно прошептала:

– Что ты! Что ты! Окснись (очнись), Фимушка, глупая!

Нешто можно такие речи молвить! И себя и нас всех погубишь... Молчи! Молчи!

– Не могу я молчать, матушка-царица, – своим скорбным голоском произнесла Фима, – не могу я молчать! Намедни слыхала я от Феди-царевича, забегал он утром к нам в терем, что царь завтрашний день в Москву собирается всех своих лихих опричников послать, и Басманова, и князя Вяземского, и Грязного, и самого страшного Малюту Скуратова... А поскачут они прямо в хоромы князя Дмитрия Овчины-Оболенского, которого намедни погубили в царском погребу... Для того поскачут, чтобы семью князя, его жену, холопей, казну, хоромы, все уничтожить, предать гибели, камня на камне не оставить там... Так сама подумай: нешто это хорошо? Князя без суда, без расправы задушили, как разбойника, заманив его в погреб царский. Поверил царь словам Федора Басманова, поверил в преступность князя и велел погубить его... Все ведь я знаю, как было: царь послал его с холопами в погреб будто бы вина заморского отведать, а на самом деле приказ был дан задушить несчастного. И холопы исполнили приказ: петлю накинули на шею князю, даже помолиться перед смертью не дали, окаянные, а потом сами же слух распустили, будто опился князь... И все по наущению проклятого Федьки Басманова... Но мало им смерти самого князя: его супругу и дворню ни в чем не повинную погубить хотят. А тут еще мальчонка малого мучают, велят царя потешать, за это прощение его князю сулят. Да

ведь князь-то задушен, убит давно уже, три дня никак, и уж тело его давно зарыли, а шутенок-то царев изо всех сил старается потешать царя, надеется, глупенький, что вернут ему его князя, что жив он, князь-то его... Так честно ли? Ладно ли это? Сама помысли о том, царица!

Фима разом кончила, словно обрубилa свою речь...

Еще взволнованнее, еще горячее загорелись ее серые очи, еще ярче запылали чахоточные пятна, еще сильнее заалел румянец на бледном личике княжны. Бесстрашно глядела она в испуганные насмерть глаза царицы.

– Молчи ты, Фима! Во имя Бога молчи! – прошептала Мaрья Темрюковна, молитвенно складывая на груди руки. – Погубишь ты нас такими речами... услышат недруги, царю донесут... Пропали мы, как есть про...

Царица не докончила своей речи. Впопыхах, со съехавшей с головы на сторону кикой, вбежала в терем постельная боярыня Грязная и взволнованно крикнула с порога светлицы:

– Царь идет! Приготовься, матушка-царица! Сам царь жалует к нам!

XI

Царь Иван Васильевич вошел в терем царицы, поддерживаемый с одной стороны под руку своим любимцем Басмановым, с другой – новым молодым стольником, к которому начал привязываться за последнее время, Борисом Годуновым.

Царю сразу бросилось в глаза и испуганное лицо царицы, и взволнованное личико его любимицы княжны.

– Что с тобой? Аль недужится, Марьюшка? – ласково спросил он жену, почтительно и низко поклонившуюся ему в пояс. – И Фимушка ровно не в себе... Аль закручинились обе? Аль скучно в терему сидеть? Ну, коли скучно, я на вас веселье найду. Шутенок, чай, слыхали, у меня новый выискался. Веселый паренек: мертвого из гроба подымет... Слышь-ка, Борис, – обратился царь к Годунову, кликни-ка Ванюшу сюды, пушай царицу да княжну нашу распотешит малец. Да и карлам и дуркам заодно вели прийти.

Борис Годунов низко поклонился царю, дотронувшись до земли рукою, и вышел исполнить его приказание. Минут через пять он вернулся в сопровождении Вани и трех безобразного вида карликов, двух мужчин, уродливых и сморщенных, и одной «дурки», черной и злой на вид.

В далекие старые времена таких карлов и дурак держали в каждом зажиточном доме, не говоря уже о царском дворце

и хоромах знатных бояр, где таких дураков, карликовых шутих жило немало. В обязанности их входило исключительно потешать хозяев дома, смешить их своими шутовскими проделками и выходками. Брали в шуты большею частью разных уродов, горбатых калек и карликов, которые своими озлобленными выходками, желчными злыми шутками, а подчас драками и ссорами между собой потешали и развлекали наших предков.

А при царе Иване Грозном бывали случаи, когда царь, возненавидев какого-нибудь боярина, в шуты его назначал, смешить себя и своих опричников приказывал. И при дворе царя были разные шуты: и молодые, и старики, мужчины и женщины, русские и калмыки.

Вот в какое общество попал Ванюша, понравившийся царю своим красивым личиком и смелою речью.

В обязанности Ванюши было развлекать царя, кувыркаться и плясать перед ним, возиться с настоящими шутами и дураками, которых было великое множество в царском терему.

Три дня провел во дворце Александровской слободы Ванюша, и несколько раз уже своим веселым детским смехом, удачной шуткой и шаловливой выходкой успел вызвать улыбку на сумрачном лице царя.

Мальчик изо всех сил старался угодить царю и его приближенным, преследуя одну только цель: во что бы то ни стало освободить своего милого князя из неволи.

«Извелась, поди, бедненькая княгинюшка, поджидая нас, совсем извелась», – с замиранием сердца думал Ваня, и все мучительнее и нетерпеливее ждал той минуты, когда Федор Басманов, по данному ему обещанию, должен был отвести его к князю Дмитрию.

Но уже три дня прошло с тех пор, как взяли Ванюшу в царский терем, а о том, что он скоро увидит своего благодетеля, никто и не заикался. Минуты острой тоски все чаще и чаще прокрадывались в его сердечко. В одну из таких именно минут пришел к нему Борис Годунов и, велев нарядиться получше, повел его в терем царицы.

XII

– Ану-ка, Ванюша, представь матушке-государыне, как карла-дурка с калмычкой Фроськой из-за гривны подрались, – кивнув ласково головою вошедшему Ване, приказал царь.

Тот весело потрянул кудрями, блеснул глазками и, сморщив свое хорошенькое личико, согнувшись в три погибели, пригнулся к земле, икак бы загребая что-то с полу, начал лязгать зубами и рычать, сделавшись разом похожим на присутствовавшую тут же дурку-карлицу Машку. Потом быстро вскочил на ноги и стал делать прыжки и скачки на одном месте, как делала постоянно в минуты гнева калмычка-шутиха Фроська, потешно гримасничая при этом своим пригожим лицом.

Царь улыбался, царица смеялась. Смеялись и боярыни, и царевна, и младшая княжна, закрывшись расшитыми рукавами своих кисейных рубах.

Одна только княжна Фима не смеялась. Тяжелые мысли пробегали в ее голове. – «Бедненький мальчик, – думала Фима, – не ведает и не знает он, что ни к чему эти ломанья его и шутки... Не спасти уже ему, не вызволить из когтей смерти его князя... Ломается, корчится бедный мальчик перед царем из желанья спасти близкого человека и не знает, бедняжка, что другим его близким людям грозит новое горе-несча-

стве. Убьют его благодетельницу княгиню, убьют его друзей – слуг и служанок княжьих, сожгут, разнесут хоромы, где он провел свое детство, а он и не знает, бедненький, этого, и кружится, и из кожи лезет, как бы угодить царю!.. Что если открыть ему страшную смерть князя, что если предупредить о предстоящей гибели княгини и дворни? Может статься, он и сумеет предупредить свою благодетельницу о беде неминуемой и подаст ей весточку и поможет спастись».

И, додумавшись до этого, Фима тут же решила во что бы то ни стало поскорее открыть истину царскому шутенку.

С этой целью она незаметно выскользнула из терема за спиною боярынь и притаилась за тяжелой дубовой дверью, ведущей с половины царицыной на половину царя.

А в светлице терема, между тем по-прежнему продолжалось веселье. Представив, как карлица с калмычкой поссорились из-за гривны, Ванюша по желанию царя тут же изобразил, как и помирились они и как распили на радостях чарку зелена вина.

Потом царь пожелал показать царице, как лихо пляшет его шутенок. Действительно, Ваня умел плясать на славу. Княжьих холопы выучили этому искусству мальчика чуть ли не с трехлетнего возраста, и он неоднократно плясал трепака перед князем Дмитрием и его юной супругой. Откуда-то сразу появилась балалайка. Федор Басманов ударил по струнам, и Ванюша, плавно выступая лебедью перед царской семьей и ее свитой, начал плясать. Все быстрее и быстрее разверты-

вался знакомый мотив, все быстрее и быстрее работали ноги мальчика. Наконец он дробно застучал каблуками и пустился вприсядку. Разметались русые кудри, разгорелись ясные детские глаза, заалелось румяное личико Ванюши.

– Ой, любо! Ой, любо! Лихо ты как пляшешь, Ваня! – крикнул царь, и его обычно угрюмое, хмурое лицо оживилось довольной улыбкой.

Ванюша гикнул, свистнул и, притопнув еще раз, очутился у ног царя.

Пляска кончилась, и царь с царицей осыпали мальчика похвалами.

XIII

Разом спало оживление Вани, когда он, сопровождая царя, вышел из терема царицы. Он так надеялся, бедный мальчик, что в награду за его пляску царь тут же даст ему милостивое разрешение хоть одним глазком повидать нынче князя. Но ничего этого, однако, не случилось. Царь хвалил Ваню, гладил по головке и подарил несколько золотых грошей, но о князе Дмитрие не обмолвился ни полусловом. Сам же Ванюша, боясь навредить как-нибудь милому князю, не решился так скоро заикнуться о нем перед царем.

Понурый, с грустными мыслями, шел он через темные сени, отделяющие одну половину дворца от другой, далеко отстав от царя и его спутников.

Вдруг чья-то маленькая ручка высунулась из-за двери, схватила его за рукав пестро расшитого шутовского кафтана, и раньше чем Ваня смог вскрикнуть от испуга, он очутился в темном углу за дверью сеней. Та же маленькая ручка легла ему на губы, закрывая рот, а дрожащий от волнения голос зашептал ему на ухо:

– Молчи!.. молчи!.. тише!.. тише!.. Не бойся ничего, соколик... Я княжна Фима... Не лиха, добра желаю тебе... Хотела предупредить тебя, пока не поздно... Слушай, паренек, горе лихое ждет тебя... Обманули тебя люди... А царь, видно, нарочно истину от тебя скрыл... Я же молчать не стану, по-

тому жаль мне тебя... Вот ты пляшешь и прыгаешь на потеху нам, думаешь князя своего спасти... А его давно нет в живых... помер князь твой... Перед царем его злые вороги оклеветали, и велел его казнить царь!

Едва успела Фима вымолвить это, как что-то огромное тяжело навалилось камнем на сердце Ванюши. Хотел крикнуть мальчик и не мог. Хотел зарыдать и не смог тоже... Сердце замерло в груди от горя, боли и ужаса. Грудь готова была разорваться в этот миг. Он закрыл руками лицо, и тихий, жалобный стон вылетел из его дрогнувших губ.

Не дав опомниться мальчику, княжна обвила его плечи руками и, обняв его, как родная сестра, исполненная жалости и горя, зашептала снова:

– Не плачь, не тоскуй... Все едино, не помочь горю... Князя уже не вернуть... Он у Господа Бога... А вот княгиню его спасти надо... Завтра на заре опричники царские поскачут в княжескую усадьбу, на Москву, чинить расправу над ближними князя, потому что налгали царю княжьи враги, что супруга князя новую измену против царя замышляет... Надо спасти ее... во что бы то ни стало... Надо до княжьих хором добраться и упредить княгиню. Не чует она, бедная, какая лихая беда над нею собирается черной тучей... Пушай бежит с холопьями княгиня, пушай до времени в обители какой схоронится, а потом и дальше в Литву бежит. Там князь Курбский живет и другие беглецы московские, и дадут ей пристанище... Только спешить надо, а то поздно будет... Ко-

ня раздобудь хоть у царевича Федора либо у Васи брата... Возьми, никто не узнает, и как стемнеет малость, скачи в княжескую усадьбу...

Словно раскаленные угли падали на сердце Вани слова княжны.

«Князя нет... его обманули... умер князь... погубили его злые люди, оболгав перед царем... Княгине смерть, гибель грозит... дворне княжей тоже... Ужели допустить это, ужели не попытаться спасти?.. Оплакивать князя не время – надо княгинюшку спасать!»

Эти мысли, словно вихрь, метались в голове мальчика, и не помня себя от горя и тоски, он взглянул скорбными глазами в лицо княжны и дрожащим голосом шепнул чуть слышно:

– Спасибо за все, за всю истину-правду, хоть и горька она... А княгинюшку я спасу, попытаюсь спасти... Как перед Богом говорю, попытаюсь!

XIV

Тихая, ласковая, чуть прохладная июльская ночь веет своими черными крыльями над Александровской слободою. Белесовато-желтое пятно месяца слабо озаряет неуклюжую громаду царских хоромин с пристройками и службами и высокой колокольней над ними.

Спит слобода. Спит дворец царский, обнесенный стенами и рвом, похожий на крепость, спят высокие терема и живущие в ней люди... Все спит, утомленное за день.

А месяц и ночь сторожат этот покой...

Где-то скрипнула дверь и запела, отворяясь на железных петлях... Чья-то маленькая фигурка легким призраком выскользнула на крыльцо и бегом пустилась к конюшне царской. Здесь, у конюшни, была лужайка, поросшая сочной зеленой травой. На этой лужайке паслись ночью дворцовые кони, конюх спал тут же. Луна играла на его спокойном лице и опущенных веках.

Маленькая фигурка чуть слышно подобралась к ближайшему коню и, схватив его за повод, мигом вскочила ему на спину.

– Как раз на лошадь царевича Федора напал, – проговорила фигурка и погнала коня к воротам.

Вдруг сторож-пищальник неожиданно-негаданно, как изпод земли, вырос перед маленьким всадником.

– Кто едет? – грубо окрикнул он путника.

Дрогнуло сердце маленького всадника, дрогнуло и сжалось. Но тут же он приободрил себя, и его детский голос резкими властными нотами прозвучал в темноте:

– Не признал нешто коня, слепец ты эдакий! Не видишь разве – Федор-царевич я... Душно в светлице, проехаться малость решил... Открой-ка поскорее ворота!

Сторож-воротник подскочил на месте.

Взглянув попристальнее, признал лошадь молодого сына царя и так и обмер со страху.

– Прости, царевич, не признал в темноте, – произнес он, – не гневись на верного слугу...

И бросился отворять ворота. Через несколько минут маленький всадник был уже далеко от слободской заставы.

Он взглянул на небо и, сняв шапку, перекрестился несколько раз широким крестом.

– Слава Тебе Господи, все хорошо будет, – произнес он. – Царевич-то со мною одних, почитай, лет, и росту мы одного и сложения, вот и поверил стражник мне, что я Федор... А теперь скорейча бы добраться до княжеской усадьбы.

И, стегнув лошадь длинным ременным поводом, который служил вместо узды, Ваня помчался во весь опор по дороге к княжеской усадьбе.

Ночь ласково темнела над ним, луна слабым трепетным светом озаряла его путь... А юный всадник все скакал, все мчался, не убавляя бега коня ни на минуту...

Всю ночь напролет мчался Ваня. Когда серовато-белый рассвет стал побеждать ночную тьму и белым прозрачным отсветом закурилась земля, он остановил коня, соскочил с его неоседланной спины и, припав ухом к земле, стал слушать – нет ли за ним погони. Едва внятный топот копыт донесся до слуха мальчика... Ваня обмер и, не отрывая уха от земли, стал слушать. Глухой топот стал внятнее через минуту. Казалось, несколько десятков всадников мчалось за ним.

Не теряя ни секунды, мальчик снова вскочил на своего неоседланного коня и, сжав его крутые бока своими детскими ножонками что было силы, вихрем понесся к хоромам князя...

XV

– Княгинюшка, матушка, спасайся скорееича. Собирай что есть ценного у тебя... Сбирай дворню, вели колымагу запрягать, а то еще лучше коней седлать... Ускачем скорее... Опричники царские к тебе мчатся... Гибель и смерть с собой несут тебе и твоей дворне... Собирайся скорееича, родимая, болезная...

Эти слова словно искры сыпались из уст Вани, когда он, запыхавшийся, чуть живой от усталости и быстрой езды, бросив коня на дворе, ворвался в светлицу княгини.

Уже алая заря залила полнеба, уже первые солнечные лучи забрезжили на слюдовых оконцах княжеского терема, а княгинюшка Дарья еще и не думала ложиться. Заботы, тоска, мука о неизвестно куда пропавшем муже извели молодую женщину. Она не могла и думать о сне.

А тут еще любимец-приемыш пропал куда-то, и новая тоска, новое горе окончательно замучили княгиню, едва не свалив ее с ног.

Увидя внезапно появившегося перед ней Ваню, княгинюшка Дарья точно проснулась от тяжелого, мучительного, долгого сна. Новая надежда закралась в ее сердце.

– Где князь? Не слыхал ли о нем? Не видал ли его? – прозвенел дрожащий слезами голос княгинюшки, и схватив руку мальчика, она, взволнованная, чуть живая, ждала ответа.

Слезы, так долго сдерживаемые в груди Вани, разом хлынули из его глаз.

– Княгинюшка... светлая... голубушка... желанненькая, – прорыдал Ваня, – нет князя... нет в живых нашего соколика... умер князь... погублен он...

– Умер?! Погублен! – эхом простонала княгиня и, побледнев как смерть, рухнула на пол...

Княгинюшка Дарья лежала без чувств. Вокруг нее суетилась дворня, стараясь привести в чувство. Ваня, бледный и дрожащий, торопил людей.

– Скорее, скорее собирайте все богатства, всю казну княжью, – говорил он, – сейчас нагрянут сюда опричники... камня на камне не оставят, все разнесут... Княгиню снесите осторожно в подполье... в погреб... там за пустыми бочками ее спрячьте... никто не найдет... А сами все бегите... пока не поздно... в лес бегите, за город, не то опричники всех загубят, замучат, запытают до смерти...

Голос Вани срывался и дрожал. Глаза метали искры. Он точно вырос, возмужал за несколько часов. И никому из холопов в голову не пришло послушаться этого маленького мальчишка, княжьего приемыша и любимца, который, как взрослый мужчина, умно и здраво распорядился людьми. Ванюша распорядился очень умно: он понял, что бесчувственную больную женщину было бы очень трудно вынести тайком из усадьбы, а в колымаге и подавно не удалось бы увезти ее незамеченною рыскавшими повсюду в те страшные

дни опричников. Правда, сначала дворня хотела не покидать свою госпожу, верные холопы пожелали разделить с нею ее участь и уже решили остаться с нею в погребке усадьбы. Но старая няня княгинюшки решительно восстала против этого.

– Что вы выдумали, неразумные, – проговорила она взволнованным голосом, – где одному человеку укрыться можно, там целой толпе схорониться незамеченной трудно. Еще, чего доброго, подведете княгинюшку, погубите ее сердешную... Бегите, спасайтесь сами, пока не поздно, а мы с Ванюшей ее сторожить будем... Коли приведет Господь, укроемся от злодеев, завтра на рассвете за нами придете, а коли не суждено спастись нам – помянете наши душеньки в святом поминаньи, – заключила уже совсем спокойно свою речь старуха.

Холопы молча, с понурыми головами выслушали ее, и бесчувственную княгиню со всякими предосторожностями отнесли в погреб. Сюда же усердная дворня снесла все сокровища княжьи, мешки с деньгами, золотые и серебряные чарки, лари с жемчугом и самоцветными камнями, ожерельями, серьгами, подвесками – словом, со всеми драгоценностями, имевшимися в доме, и наскоро закопали все под полом в земле.

Закончив работу, верные холопы один за другим подходили к бесчувственной княгине, целовали ее бледную руку и один за другим скрывались из усадьбы.

Скоро совсем опустели княжеские хоромы. Только внизу,

в подполье, в погребе, трое людей, приютившись в темном углу за высокими чанами и бочками, остались, тесно прижавшись друг к другу...

Эти люди были: старая княжья няня, бежавший из слободы царский шутенок и бесчувственно распростертая на полу погребца молодая княгиня Овчина – Оболенская.

* * *

– Гайда! Гайда! – слышались дикие пронзительные крики, и вмиг огромные хоромы князей Оболенских были заняты шумной, беснующеюся толпою. Весь двор, все палаты и светлицы наполнились стаей налетевших опричников. Поспешно соскакивали они с коней, врывались в дом, ища, шаря в нем и грабя, что было поценнее. Предводительствовал эту разнузданную толпою сам любимец царский – Федор Алексеевич Басманов.

– Ишь, ведь пронюхали, что не поздоровится им! И хозяйева и холопы – все скрылись! – грубым голосом со смехом говорил Басманов, тщательно обыскивая все углы и закоулки княжьего терема. – Опередил нас проклятый шутенок... Видно, схоронились все... Ну да ладно, не уйдут далече, всех разыщем... Гей, братцы, – крикнул он товарищам, – в клетки, боковушки заглядывайте, в погребца и подполья и кого ни найдете, живьем сюды тащи, суд и расправу здесь я править буду! А княгинюшку с царским шутенком мне беспре-

менно найти чтобы... Им, родненьким, я такой суд-расправу замыслил, что и во сне не снилось никому из вас! Знатную потеху увидите, только найдите мне их скорее! Гайда, гайда, вперед! – заключил он свою ужасную речь.

Страшным, диким криком пронесся этот призыв по всем просторным хоромам князей Оболенских.

Услышали этот крик и старая няня с Ванюшей и притихли в дальнем углу темного погреба. Дрожь прошла по ним... Но еще сильнее задрожали они, когда закричали под тяжелыми шагами опричников ступени лестницы, ведущей в погреб, и когда все подполье наполнилось людьми...

Чуть дыша прижался Ваня к бесчувственной княгине, схватил ее холодные руки в свои, да так и замер над нею... Сквозь небольшую щель, образовавшуюся между двумя бочками, ему хорошо было видно, как человек десять опричников, под предводительством самого Басманова, рыскали и шарили по всему подполью.

– А ну-ка поищи, брат Миша, за бочками, не притаились ли там голубчики наши!.. – прогремел чуть ли не над самыми головами несчастных грубый голос их злейшего врага.

Опричник, к которому обратились эти слова, поправил свет лучины, которую он держал в руке, и быстрым шагом направился к убежищу беглецов.

Ужас наполнил душу Вани... Он взглянул на старуху няньку... Та неслышно шептала молитвы побелевшими губами. Лучина, теперь поднятая высоко над головою оприч-

ника, мерцающим светом озарила погреб...

Душа Вани замерла в предсмертной тоске... Сердце перестало биться... Холодный пот выступил на лбу... Ни одну минуту не боялся за себя смелый благородный мальчик. Он думал только одно: найдут княгиню, что будет с нею? И дыбом поднимались волосы на его голове.

А опричник с лучиной все приближался и приближался... Вот он шагнул к бочкам, протянул руку, и в ту же минуту крик и проклятье вырвались из его груди...

Он не разглядел в полутьме колоду, лежавшую посреди погребца и, запнувшись за нее, растянулся на полу во весь свой богатырский рост.

Лучина, которую он держал в руках, погасла, в подполье воцарилась тьма.

– Ну что? Нашел? – послышался голос Басманова.

– Какое нашел!.. Только ногу стукнул! – сердито, с трудом поднимаясь с пола, отвечал тот, которого Басманов назвал Мишей.

– Пойдем наверх, братцы! Видно, никого здесь нет!.. Все убегли! – раздался снова голос Басманова.

И ощупью, натыкаясь друг на друга, вся толпа разбойников полезла наверх.

Вскоре разоренные хоромы княжеские опустели. Опричники, решив, что и княгиня, и вся ее дворня скрылись бесследно, повскакивали на коней и с награбленным добром умчались обратно.

От сердца Вани отлегло немного. Когда стих топот коней, он вылез из погреба, осторожно, озираясь кругом, сходил к колодцу за водою, чтобы при помощи холодной влаги привести в чувство княгинюшку.

На заре вернулись княжьи холопы и помогли несчастной вдове князя бежать из усадьбы и скрыться вместе с Ванюшей подальше от страшной Москвы, в соседней Литве, у князя Курбского. Долго горевала о любимом муже княгиня, долго горевал о своем благодетеле и Ванюша. Они поселились в дальней, забытой, покинутой литовской деревне, где их не мог уже достать царский гнев, и здесь тихо и мирно коротали свой век в мыслях и молитвах о погибшем князе...